

*Памяти Фиби Хэрти,
утешавшей меня во вре-
мя Великой депрессии в
Индианаполисе*



*Пусть испытает меня, —
выйду, как золото.*

(Иов: 23, 10)

Предисловие

Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией «Дженерал миллз» и стоит на коробке пшеничных хлопьев для завтрака. Заглавие данной книги, совпадающей с этим названием, никак не связано с акционерной компанией «Дженерал миллз», не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт.

Той Фиби Хэрти, которой я посвящаю эту книгу, давно, как говорится, нет в живых. Когда я с ней познакомился — к концу Великой депрессии, — она жила в Индианаполисе и уже овдовела. Мне было лет шестнадцать, ей — около сорока.

Она была богата, и, однако, всю свою взрослую жизнь она ежедневно ходила на службу и работала не переставая. Остроумно и толково она вела отдел «Советы влюбленным» в «Индианаполис таймс» — хорошей газете, ныне усопшей.

Усопшей...

Кроме того, Фиби Хэрти сочиняла рекламу для владельцев универмага «Вильям Х. Блок и Компания» — этот универмаг до сих пор процветает в здании, выстроенном по проекту моего отца. Вот какую рекламу Фиби Хэрти сочинила для осенней распродажи летних соломенных шляп: «За такую цену можете даже пропустить эту шляпу через лошадь и удобрить ею ваши розы».

Фиби Хэрти подрядила меня сочинять рекламу готового платья для подростков. Мне полагалось и самому носить ту одежду, которую я расхваливал. Это входило в мои обязанности. И я очень подружился с двумя сыновьями Фиби Хэрти, моими сверстниками. Я вечно торчал у них дома.

Не стесняясь в выражениях, она откровенно разговаривала обо всем и со мной, и со своими сыновьями, и с нашими подружками — мы часто приводили их к ней домой. С ней было весело. С ней я чувствовал себя свободно. Она приучила нас не только называть своими словами все, что касалось секса, но и говорить в непочтительном тоне об американской истории и всяких знаменитых героях, о распределении земных благ, об учебных заведениях — словом, обо всем на свете.

Теперь я зарабатываю на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем

на свете. У меня это выходит довольно грубо, нескладно. Но я стараюсь подражать непочтительному тону Фиби Хэрти — у нее все вышло удивительно точно, изящно. Мне кажется, что ей было легче найти нужный тон, чем мне, потому что во время Великой депрессии настроение у людей было другое. Тогда Фиби Хэрти, как и многие американцы, верила, что народ станет счастливым, справедливым и разумным, как только наступит «просперити» — благосостояние.

Теперь мне уже никогда не придется слышать это слово — «*просперити*». А раньше оно было синонимом слова «*рай*». И Фиби Хэрти могла верить, что непочтительное отношение, которому она нас учила, поможет создать американский рай.

Нынче такое неуважительное отношение ко всему вошло в моду. Но в американский рай уже никто не верит. Да, мне ужасно не хватает Фиби Хэрти.

Теперь — о подозрении, которое я высказываю в этой книге, будто все человеческие существа — роботы, механизмы. Надо принять во внимание, что в Индианаполисе, где я рос, очень многие люди, особенно мужчины, страдали *локомоторной атаксией*, часто наблюдающейся в последней стадии сифилиса. Я часто видел их на улицах и в толпе у цирка, когда был мальчишкой.

Эти люди были заражены крошечными хищными спиральками-спирохетами, видимыми лишь под микроскопом. Позвонки больного оказывались накрепко спаянными друг с другом после того, как эти прожорливые спирохеты съедали всю ткань между ними. У сифилитиков был удивительно величественный вид — так прямо они держались, уставив глаза в одну точку.

Как-то раз я увидел одного из них на углу улиц Меридиен и Вашингтонской, под висячими часами, сделанными по эскизу моего отца. Кстати, этот перекресток прозвали «Америка на распутье».

Сифилитик стоял на этом распутье и напряженно думал, как бы ему заставить свои ноги сойти с тротуара и перейти Вашингтонскую улицу. Он весь тихо вибрировал, как будто у него внутри какой-то моторчик работал вхолостую. Вот в чем состояла трудность: участок мозга, откуда шли приказания к мышцам ног, был сожран спирохетами. Провода, передававшие эти приказания, уже лишились изоляции или были продены насквозь. Выключатели по пути тоже были намертво запаяны или навечно разомкнуты.

Этот мужчина выглядел старым-престарым, хотя ему, наверное, было не больше тридцати. Он все стоял, стоял, думал. И вдруг брыкнул ногой два раза, как танцовщица в ревю.

Мне, мальчишке, он тогда показался настоящим роботом.

Я склонен представлять себе человеческие существа в виде больших лабораторных колб, внутри которых происходят бурные химические реакции. Когда я был мальчиком, я встречал много людей с зобом. Видел их и Двейн Гувер, продавец автомобилей марки «Понтиак», герой этой книги. У этих несчастных землян так расперло щитовидную железу, как будто у них из глоток росла тыква.

А для того, чтобы стать как все люди, им только надо было глотать ежедневно примерно около одной миллионной унции йода.

Моя родная мать вконец погубила свою нервную систему всякими химикалиями, которые будто бы помогали ей от бессонницы.

Когда у меня скверное настроение, я глотаю малюсенькую пилюльку и сразу приободряюсь.

И так далее.

Вот почему, когда я описываю в романе какой-то персонаж, меня всегда тянет объяснить его поступки — то испорченной проводкой, то микроскопическим количеством того или иного химического вещества, которое он проглотил или не проглотил в этот день.

Что же я сам думаю об этой своей книге? Мне от нее ужасно муторно, хотя мне от каждой моей книжки становится муторно. Мой друг, Нокс Бергер, однажды сказал про какую-то очень закрученную книгу: «...читается так, буд-

то ее сварганил какой-нибудь Снобби Пшют». Вот в кого я, наверно, превращаюсь, когда пишу книгу, которая, по всей вероятности, во мне запрограммирована.

Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятилетию. У меня такое чувство, будто я взобрался на гребень крыши, вскарабкавшись по одному из скатов.

Видно, я так запрограммирован, что и в пятьдесят лет веду себя по-ребячески: неуважительно говорю про американский гимн, рисую фломастером нацистский флаг, дырки в заднице и всякое другое. И чтобы дать представление о том, насколько я зрелый художник, я помещаю здесь иллюстрацию — вот эта дырка:



Думается мне, что я хочу очистить свои мозги от всей той трухи, которая в них накопилась — всякие флаги, дырки в задницах, штанишки. Да-да — в этой книге непременно будут нарисованы дамские штанишки. И еще я выкидываю за борт героев моих старых книг. Хватит устраивать кукольный театр.

Думаю, что это попытка все выкинуть из головы, чтобы она стала совершенно пустой, как в тот день пятьдесят лет назад, когда я появился на этой сильно поврежденной планете.

По-моему, так должны сделать все американцы — и белые и небелые, которые подражают белым. Во всяком случае, *в мою голову* понабивали порядком всякой чуши — много там и бесполезного, и безобразного, и одно с другим не вяжется и совершенно не соответствует той реальной жизни, которая идет вне меня, вне моей головы.

У меня нет культуры, нет благородной гармонии мыслей. А жить без культуры я больше не могу.

Значит, эта книга будет похожа на дорогу, усеянную всякой рухлядью, мусором, который я выбрасываю через плечо, путешествуя во времени назад, к 11 ноября 1922 года.

И я пропутешествую во времени назад в тот день, когда 11 ноября — кстати, это день моего рождения — стало священным днем: его называли *День перемирия*. Когда я был мальчиком и Двейн Гувер тоже был мальчиком, все люди, когда-то сражавшиеся в Первой мировой войне, ежегодно в этот день соблюдали минуту молчания — одиннадцатую минуту одиннадцатого часа одиннадцатого дня одиннадцатого месяца в году.

Именно в такую минуту в 1918 году миллионы миллионов человеческих существ перестали калечить и убивать друг друга. Я разговаривал со старыми людьми, которые в ту минуту находились на поле боя. Все они, хотя и по-разному, говорили мне, что неожиданная тишина показалась им Гласом Божиим. Так что есть еще среди нас люди, которые точно помнят, как Создатель во всеуслышание заговорил с человечеством.

День перемирия переименовали в День ветеранов. День перемирия был священным днем, а День ветеранов — нет.

Значит, День ветеранов я тоже выкину через плечо. А День перемирия оставлю себе. Не хочу выбрасывать то, что священно.

А что же еще священно? Ну, например, *«Ромео и Джульетта»*. И вся музыка.

Снобби Пиют

Глава первая

Это рассказ о встрече двух сухопарых, уже немолодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели.

Один из них был автором научно-фантастических романов по имени Килгор Траут. В дни встречи он был никому не известен и считал, что его жизнь кончена. Но он ошибся. После этой встречи он стал одним из самых любимых и уважаемых людей во всей истории человечества.

Человек, с которым он встретился, был торговцем автомобилями — он продавал автомобили фирмы «Понтиак». Звали его Двейн Гувер. Двейн Гувер стоял на пороге безумия.

Слушайте:

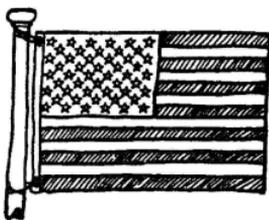
Траут и Гувер были гражданами Соединенных Штатов Америки — страны, вкратце называвшейся просто *Америкой*. Вот какой у них был национальный гимн — сплошная белиберда,

которую и они, и многие другие, по-видимому, принимали всерьез:

О, скажи — видишь ты поутру, на заре,
То, что с гордостью видел на закате вчера ты?
Как в дыму и в огне, не сгорая, горел
Устремившийся в небо звездный флаг полосатый,
Как сквозь грохот атак, сквозь пожары и мрак
Нам победно сиял полосатый наш флаг?
О, скажи, развевается ль звездное знамя
Над землей храбрецов, над свободы сынами?¹

На свете существовало около квадрильона разных национальностей, но только у той нации, к которой принадлежали Килгор Траут и Двейн Гувер, был вместо национального гимна такой бессмысленный набор слов, испещренный вопросительными знаками.

А вот какой у них был национальный флаг.



И еще, на всей планете только у их нации был закон, в котором говорилось: *«Флаг наш никогда, ни перед кем и ни перед чем спускать не должно!»*

Спуском и подъемом флага назывался дружественный обычай, когда в знак приветствия

¹ Перевод Ю. Петрова.

флаг опускали по флагштоку к земле, а потом снова подымали вверх.

Девиз родины Двейна Гувера и Килгора Траута на языке, на котором уже никто на свете не разговаривал, означал: «*Из множества — единство*» — «*Ex pluribus unum*»¹.

Неспускаемый флаг был красавец, да и гимн, и девиз никому бы не мешали, если бы не одно обстоятельство: многих граждан этой страны до того обижали, презирали и надували, что им иногда казалось, будто они живут вовсе не в той стране, а может, и не на той планете и что произошла какая-то чудовищная ошибка. Может быть, им было бы легче, если бы хотя бы в их гимне или в их девизе говорилось о справедливости, или братстве, или надежде на счастье, чтобы этими словами их радушно приветствовали, как полноправных членов общества, совладельцев его богатств.

А когда они разглядывали свои ассигнации, чтобы понять, что у них за страна, они видели там, среди всякой другой вычурной чепухи, изображение усеченной пирамиды, а над ней сияющее око, вот такое:



¹ Из множества единство (лат.).